

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ГЛУПЫЙ
НИКИТА

Зинаида Николаевна Гиппиус

Глупый Никита

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25869291

Аннотация

«Не сразу вышло, конечно, не вдруг; но был он терпелив, малодумен, никогда на судьбу не жаловался, – брал, какая посылалась. И, с течением времен, и многие из здешних, из своих, даже поумнее его, стали ему завидовать...»

Содержание

Зинаида Гиппиус

Глупый Никита

Не сразу вышло, конечно, не вдруг; но был он терпелив, малодумен, никогда на судьбу не жаловался, – брал, какая посылалась. И, с течением времен, и многие из здешних, из своих, даже поумнее его, стали ему завидовать.

Судьба его, с самого начала, была обыкновенная. Взяли из дому, из села Пролазы, повезли далеко, в город, подучили наспех грамоте, ружью, – и на фронт: в окопах лежать, с немцем воевать.

Дома было у Никиты хозяйство, жена молодая, сынишка уж по хате ползал. Да что будешь делать, велют воевать, значит войой. О немцах, о Вильгельме, товарищи кругом много болтали, да Никита не разбирался: туг был на размышление, ленив, правду сказать.

Писем из дому не получал, – какие там писаки! Вот кончится это все, кончится война, тогда... он не додумывал, и так было понятно, что потом, когда кончится.

Но война еще не кончилась, а Никиту из окопов вдруг взяли, и с прочими опять в город повезли. Стало слышно, будто составят новый отряд и пошлют за море, «французу помогать».

– Отборных молодцов у нашей державы он требует, – пояснял ихний запевала Федосьев, бойкий парень. – Чтобы

подмога им, значит, французам, от нас была.

– Какие это? – спросил Никита.

Федосьев даже удивился.

– Видали дурня? И откуда ты такой взялся, деревня серая! Союзники это, союзные державы. Тебя, гляди, возьмут, ишь видный какой, рослый. Эх, мне бы попасть, посмотрел бы я на французов на этих, какие они есть.

Но Федосьев в отряд не попал, а Иванчука, действительно, зачислили, хотя французами он ничуть не интересовался. Впрочем, он не жаловался: определили – значит, так надо.

Потом все пошло что-то уж очень скоро, одно за другим, все разное, но одинаково Никите не понятное. Не говоря уж, что и путь за море, и люди там, и земля, даже окопы, – все было сразу другое, не похожее, – но и в отряде, меж своих, поднялись неслыханные толки, а вскоре и дела: банты красные понацепляли, галдят, домой будто собираются. Через небольшое время и того пуще: наши, говорят, с немцем замирились, не желаем и мы больше воевать! И пошла форменная ерунда, как вдруг бац! сами французы с немцем замирились, потому что немцы наутек, и война кончилась.

У них ликование, а наш отряд, хватились, половины уж нет. Может, и переправили кого, а кто самосильно скрылся, – неизвестно. Другим, однако, объявили: отправят восвояси, по желанию, опять воевать: с немцем замирились, да теперь с большевиками пошла война.

Никита сначала подумал, было, что какой-то еще новый народ, большеголовый, показался. Потом другие растолковали кое-как, видит – совсем неладное. Воевать ему ни с кем, однако, больше не желалось; но пока он думал, куда теперь податься, что оно все означает, – судьба сама решила дело. остался ни при чем, от других отбившись, один-одинехонек.

В городе Париже, куда-то его свели, русский незнакомый тут вертелся, через него спрашивали, почему в Россию не поехал. Никита вспомнил, что опять воевать и сказал: «Не хочу». И подумал, как прежде: «Вот кончится война, тогда...».

Еще спрашивали, потом дали бумагу и отпустили.

Так он и остался. Сначала город ихний все соображение ему спутал: эка людищей! и все какие-то... Потом ничего. Своих нашел. Не из отряда, а так, своих. Много чудного рассказывали. Никита слушал-слушал и пришел, главное, к такому понятию: надо, пока что, работу искать, нечего прокляжаться. А то кончится война, кончится ерунда вся здешняя, ему – из нее и выбраться не с чем.

Работы он не боялся; а работы – как не найти такому молодцу! Сперва взялся за тяжелую, – шутя исполнял; потом видит, другие есть, прибыльнее, хитрости же особенной не требуется. Смышлен был на работу, ко всякой машине сразу сноровку находил, точно нюхом. И глаз имел хороший. Автомобили ихние скоро стали ему – пустое дело. И через немного времени приспособился он таксомоторщиком; был доволен, чего еще искать, ездил.

Знавшие Никиту, из своих, – дивились: как это он экзамен прошел, улицы запомнил и выговорил? Ведь он, дуралей, о сю пору здешнего разговора не знает, а в грамоте и в своей плох. Никита заверял, что чего надо – знает, и хитрости нет запомнить. Почему нет – объяснить, однако, не мог. Правда же была в том, что, не считая здешний язык за язык, запоминал он слова и названия вроде, как винтики в машине, – только не глазом, а слухом, – и куда нужно, прикладывал. Глазом же запоминал их написанными. Так и запомнил слова, касавшиеся машины, езды и денег; другие ему были ни к чему, – не интересовался.

С таксомоторщиками, со своими, компанию водил, но не близкую. Раза два-три только в русском трактирчике погулял, а то был не пьющий. Да и деньги берег: всякий лишний франк в «кассу» стал таскать, когда ему про кассу объяснили.

Завелись у него постоянные клиенты; он уж знал, например, что черноватенького, толстого барина повезет он в глухую улочку Отейля, во вторник, и так уж пригонял, чтоб этого барина захватить. В улочке долго ждать приходилось, иной раз не обедавши; но Никита не роптал и лишнего не настукивал, так что и барин был им доволен.

Вот раз, дожидался так Никита черноватенького, и вздумалось ему промять ноги, походить по тротуару, у машины. Холодно. Был еще день, но от сквористого, тонкого, острого тумана как бы завечерело. Фонари кое-где даже зажглись, –

на фонарях туман стал виден: точно сквозь кисейку огонь просвечивает.

В нижнем окошке, рядом с чугунной, узорчатой дверью, тоже засветилась лампочка. Потом дверь приотворилась, и на порог вышла небольшого роста женщина, рыжеволосая, в вязаной кофточке.

– Мсье, – позвала негромко, – мсье...

Никита огляделся, – кругом никого. Значит, его зовет. «Консьержка, швейцариха, – подумал. – И чего такое? Кажись, никому машина не мешает».

Подошел. Женщина скоро-скоро, как все оне здесь, затрещала. Видимо, не бранилась, но о чем-то просила. Никита, конечно, не понял, покачал головой. Догадавшись, женщина пуще застрекотала, но уж помогая себе руками, тыча пальцем то на дверь, то на свое окно. Никите стало представляться, что она зовет его в свою швейцарову комнату, там ждать.

– А ну барин выйдет? – сказал Никита и заглянул на лестницу.

Швейцариха тоже поглядела вверх, замотала головой: долго, мол; нечего опасаться.

– Ну, веди, коли так, спасибо, – проговорил Никита и шагнул за дверь.

В комнате женщина усадила его на кресла и захлопотала, не прерывая, однако, трескотни. Если б Никита понимал ее, то узнал бы, что женщина давно его заметила, давно хотела пригласить, скучно ведь дожидаться господина, что сидит

теперь у дамы из пятого направо...

Но Никита, не понимая, и не слушал, оглядывал комнату. Комната была большая, хорошая, на полу ковер, стол круглый, кресла, шкафы, ширмочка. Подальше занавес во всю стену. Тепло. Светло.

«А мягко это бабье у них живет!» – подумал Никита. На столе, между тем, явилась бутылка вина, печенье, стаканы на высоких ножках.

– Спасибо, – сказал опять Никита.

– Рюсс, мсье рюсс? – обрадовалась швейцариха, уловив откуда-то залетевшее к ней слово. И растеклась: она так и знала, что он «бойар рюсс», потому что такие высокие и красивые бывают только они, а их теперь много здесь, – убежали от «большевик».

Насчет бояр Никита не понял, насчет красоты своей тоже. Но понял, что она хочет знать, кто он. Ткнув себя пальцем в грудь, произнес:

– Солдат русск. – Припомнив еще одно понятное им слово, прибавил: – Казак русск, – хотя казаком не был.

Женщине еще больше, кажется, понравилось, что он не «бояр», а казак и солдат. Опять всячески помогая себе жемствами, она рассказывала, что ее муж тоже был солдатом, убитый «pour la patrie»¹, что осталась она восемнадцатилетней вдовой, но ведет себя строго, – все родные знают, как она

¹ «за родину» (фр.).

живет: в одиночестве и в «travail»².

Никита кое-что уразумел: про мужа-солдата и про то, что она не балованная какая-нибудь. Главное же, понял, что он ей приглянулся.

«А ничего себе бабенка, – думал, рассматривая еще свежее лицо и белозубый трескучий рот. – Рыжа, а то ничего, во всех статьях баба, будто и настоящая».

– Я Иванчук, Никита Михайлов, – сказал он, тыча себя в грудь. – А тебя как? Ном...? – и чуть не прибавил: дялярю, – привык.

– Madame Raimonde, – блестя глазами, ответила швейцариха.

«Скажи пожалуйста, Раймода, – удивился Никита. – Да еще мадам». Улица Мадам была, а Раймоды не было. Но ему понравилось новое название. Усмехнулся.

– Ну, будем, значит, знакомы, Раймода ты эдакая. А меня как? Я?

Она забыла.

– Иванчук Никита, – вразумительно произнес он. – Да ладно, куда тебе, говори просто Никита, и буде.

– Qui-ta – лепетала Раймонда, – Quita. C'est beau...³

– Эх вы, народец тоже! Кита! И язык-то по-христиански не ворочается. Да наплевать, зови, как тебе дано, хоть Китом, хоть Акулой, хоть Титом, хоть Микулой. Не вековать с тобой,

² «работа» (фр.).

³ Конечно. Хорошо... (фр.).

зря что ты баба ласковая, ладная; ничего баба.

Хлопнула дверь на лестнице. Насторожились. Раймонда закивала: да, мол, с пятого. Никита сунул ей руку, а когда она что-то скоро-скоро и горячо ему шептала, догадался: опять чтоб к ней, если с черноватым приедет.

* * *

Так и вышло, так и пошло: черноватый к даме с пятого, Никита к Раймонде. Угощала кофеем, а то, коли загостится черноватый, она и котлетку Никите изжарит, у них это скоро.

Конечно, по-прежнему не выходило между ними разговору: да и на что его? Нужно будет – поймется. Вот начала Раймонда о машине, своя ли у него, и что своя выгоднее, только сразу надо капитал затратить, – Никита все понял. И про «кассу» понял: Раймонда тоже туда деньги носит. Хотел было, сказать, что у самого деньги там имеются, да не успел, притом же чего о них, деньги это особые, денег этих, пока что, и вовсе как бы нет. Вот, кончится все, тогда...

И уж очень Раймонда частила, просто веретено, и с понятного на непонятное прыгала. Сейчас про машину и про кассу – а сейчас шепчет что-то, словно шуршит, и глаз с него не сводит.

Шуршала этак раз, шуршала, сама вся красная, Никита подумал: «Что ж!», да и облапил ее. Охнула, – крепко, должно быть, не рассчитал, – но ничего. Разомлела, голову рыже-

ватую на плечо ему кладет и глаза закрывает.

Однако чуть до дела – фу ты! угрем извилась, морду царапает, – вывернулась, отскочила. Глаза круглые, и ну причитать. Как горохом засыпала. Ругается – пусть бы, а эдак царапаться, вертеться, – нет, шалишь!

– Да пропади ты пропадом, зверюка рыжая! – рассердился Никита. – Кофеев твоих не видали? Креслов этих? Нужна ты мне очень. Ноги моей больше не увидишь, в глотку тебе начхать!

Фуражку со стола – к машине. Куда тут: на пороге поймала, не пускает, ревет, – небось, поняла! Мемкает чего-то, мемкает, и ту-ту-ту, и мараж, мараж...

А дверь вверху уж хлопает. Эта же все за рукав, ясное дело – прощенья просит, кается.

– Ишь, кошка блудливая, – сказал Никита, смилостивившись. – Ладно уж. Там видно будет. Но да если, да ты, опять царапаться... Пошла теперь, черноватый лезет.

* * *

В пятницу, на следующий раз, вышло и того хуже.

Ссадив черноватого, Никита сразу в швейцарскую не пошел, а сделал еще потихоньку большой круг по соседним улицам. Пусть чувствует. Когда же, не торопясь, вернулся и толкнул Раймондину стеклянную дверь, увидел там, на кресле, рядом с Раймондой, худящую старуху в черной шляпке и

с длинным желтым зубом.

Привыкнув, по шоферскому положению, к вежливости, Никита раскланялся (лишний раз кивнуть не отвалится голова, а клиент это любит от шофера). Поклонился, кстати, и старухе, но подумал: «Что еще за ведьма тут взялась?». Раймонда хлопотала, угощала, трещала. Никите указывала на тетку, будто он понимал, тетке на Никиту. Вскоре затрещала и тетка.

Надоело Никите. Видит, толку не будет, – ах ты, змеюка хитрая! и встал, с досадой, прощаться.

Опять Раймонда за ним, да меме, да мраз, мраз... Но Никита уж слушать не стал, – провались ты совсем! – сразу в машину, да на край улицы и отъехал. Как барин выйдет – оттуда подаст.

К вечеру совсем раскипелось сердце у Никиты. Ясное дело, к подлянке этой, кикиморе рыжей, он больше ни ногой. Ме-ме, да ту-ту, ни к чему это валанданье. Они думают, никто ихнюю фальшь не понимает. Люди, тоже! Мокреть болотная, и всего. А глядишь, ковры себе порастлала, занавески кисейные, в печку воды напустила, греется. Пожалуйте, а сама сейчас к морде. Не на таковского наехала. Санс интерди!

Так он беспокоился и куражился, невесть будто с чего; не догадывался: хоть и заявил он Раймонде, что в кофейях ее не нуждается, мягкая-то жизнь уж глаза ему разбаловала. Неда-ром нет-нет и представится: хорошо бы, с работы, вечером,

вот в эту комнату приехать, не в нору под крышей, где он ютится. Приехать, пожевать чего в тепле, да и на боковую...

Представлялось, правда, смутно, а представлялось...

Но сегодня в голове все Раймонда эта, и досада на нее кипит. Как справился, пошел даже в знакомый трактирчик, где свои собираются. Давно туда не заглядывал. А что ж, посидеть, да выпить, может, оно и разобьет мысли.

Свои, конечно, были, только отдельно, в углу, в карты играли. Никита устроился за столиком, заказал графинчик обыкновенной, закуски приличную. И уже не одну рюмку выглушил, когда явился Михеич, Ермоленко по прозвищу. Увидел Никиту, подсел. Приятелями, все-таки, были.

Ермоленко тоже ездил, но машина у него плохая, а сам лядащий, – незадачливый. И с чего бы, смысленый такой, по-здешнему научился как сорока стрекотать. Одно: душу имел уж очень добрую, сейчас все готов отдать. Или советом помочь. Любил и выпить, когда приятели угощали. Они не отказывали, хоть и считали его, за доброту, вроде блажененького.

– Хорошее дело, – сказал Ермоленко, увидав на Никитином столе угощенье. – Спроси-ка еще, да рыбки соленькой, с рыбкой оно приятней. Давно не видать тебя, я даже соскучился. Погулять вздумал?

– Да так, – пробурчал Никита.

Он был уж на взводе и замрачнел. Но Ермоленко хоть ко-

го разговорит. К тому же Никита, сам о том не помышляя, для разговору-то, может, и потянулся в трактиришко, и вина спросил. Долго ли, коротко ли, и уж завел Никита, заплел что-то о «Раймонде», о черноватом, о кассе, о мягкой жизни, о тетке... И как ему «эта» морду царапала, да ревела... Вдруг хватал кулаком по столу, ругался, – ни с того будто ни с сего. Кто бы со стороны ни послушал это Никитово плетенье, – только рукой бы махнул, да прочь пошел. Но Ермоленко, видно, понимал, слушал с интересом, головой сочувственно покачивал.

– Так. Ну а што она, говоришь, потом-то мекекала?

– Да неш она по-настоящему? Бес их лысый разберет, чего они турчат. Ту-ту, да мраз, мраз. Погань эдакая...

– Буде тебе. Погоди маленько. Ты мне скажи, как нумеро-то ейный?

– Нумеро уит, – сказал Никита, уже сдавшим голосом, и зашмыгал носом. – Уит, рю Турвель, сезием. Эдакая гадина, и ведьму посадила!

– Обожди, говорю, ругаться. И мрьяж тебе, значит, высказывала? Ну, дело это, как я смекаю, выследить надо. Сам говоришь, баба она вроде как видная. И с капиталцем. А в тебя, конечно, втюрившись. Моя догадка такая, что женить она тебя хочет.

Никита давно отрезвел и глаза выпучил.

– Же-енить? Да что она, сука... Небось, я венчаный. Ты меня, смотри, Михеич, не дури.

– Я же и не дую, а ты возьми в толк, разве у них по-настоящему? участок сходят, – и здравствуйте, готово дело. Тут все, брат, фальшь, не взаправду, сам понимаешь. Венцы, кто венчан, да этого не касаются, при тебе и остаются. А пока что – может, счастье это тебе привалило. Живи, пока что, в свое удовольствие: здесь, если баба втюрившись, уж она тебе предоставит, да.

Никита все глядел на Ермоленку, и лоб нахмурил, с усилием, видно, соображая.

– Вот только бумажка, – продолжал Михеич, – в бумажке, в карте, у тебя прописано? Коль прописано... Да постой. Ты где венчан-то, помнишь?

– В нашей, у Введенья, в Пролазе-селе, – ответил тотчас Никита, – как отчитал.

– А в год в какой?

Тут Никита затруднился.

– Да вот... Как война эта первая зачалась... уж Ванюшка по избе ползал. Вот, значит...

– Тээк. Ну, коль и прописано, – пустое выходит дело, в минуту можно обернуть. Я тебя, дуралей, обдумаю. Мне вчуже жаль; такую штуку вдруг, по дурости, мимо носа пропустишь. Сейчас ты пить брось, дай уж я за тебя допью. Спать иди, а завтра вечерком загляни сюда. Я тебя обдумаю. Спасибо скажешь. Поцелуемся, пока что, на радостных ожиданиях. Вот так, вот и хорошо, да.

Никита о жизни своей в Пролазах, о хозяйстве, о Любке с Ванюшкой, не то чтобы думал, вспоминал ее, нет: он попросту носил ее в себе непрестанно: она ведь жизнь эта, одна и есть настоящая. Другое, что потом вокруг завертелось, мимо него мелькать стало, все оно так: пока. А настоящее затаилось, ждет, пока что не кончилось. Вот, кончится, – тогда...

Не додумывал, да и нужды не было. Само показывало, что – тогда.

Значит, пока что терпеть. Терпение же Бог Никите послал большое, не обидел.

А тут – Михеич-приятель позаботился, добрая душа: и обдумал его, и устроил. С Раймондой столкнулся: все как раз по его догадке вышло. Потом ходили с Никитой куда-то в карте запись менять. Порядочно было хлопот, а переменили. Потом они трое, да тетка Раймондина, да дяди, да еще с ними какие-то всякие, пошли в участок, в мэрию ихнюю, а оттуда завтракать в гостиницу. И стал Никита жить в швейцарской комнате с Раймондой, спать с ней на широкой кровати за занавесью.

Раймонда не обманула: купили они Никите машину собственную, хорошую. Выручки больше, конечно. Своих денег Никита не тронул; и что привезет – сразу отделит: это я в кассу. Раймонда – ничего. Сама была порядливая; свои до-

ходы тоже имела. Да и Никиту слушалась. Попробовала бы она! Случилось раз, – не по его будто вышло, – поднялся он, сжал кулаки, она так и осела; с той поры чуть что – она с лаской, ну и угомонит.

Опять мелькают дни, вертятся, – глядь, и дитя запищало в Никитиной швейцарской. Как-то полюбопытствовал, при-смотрелся: «дите». Будто в люльке, да не в люльке, в береге ихней лежит. Нет, не настоящее «дите».

Говорят, будто и крестить его носили, и крестины справляли, – Никита на работе был. Да какие крестины! Ребенку вон не имя нарекли, а три целых, и все, по Никитову разумению, не людские: Жизель-Тереза-Вероника. А Раймонда и тетки еще четвертым его называли, прямо по-бараньему: бэ-бэ. Но Никита подумал: «Не настоящее дите, так что!» – и уж не заботился.

На крестины не попал – и то ладно. Не любил он, когда соберутся они вместе, дядья, да золовки, да тетки Раймондины, угощаются, трещат. Очень не любил; томило его. А Раймонда любила. Не часто, а в какой-то день пригласит, хлопочет, радуется; и его зовет непременно сидеть, нельзя же, мол, родные, праздник. А Никита знал, что и праздники ихние не настоящие. Свои, большие, – Рождество ли, Введение, Троицу, либо Пасху, – Никита твердо помнил. На бумажке записывал, когда какой. Эти же снимутся вдруг: Паск, Паск! а Пасхи и нет, зря празднуют; да и празднуют не по-людски. В настоящий праздник Никита пока что хоть в церковь, в

свою, приодевшись, сходит, службу отстоит. А им горя мало, им буден – день.

Дни меж тем все крутились, уж дитя подросло и сразу на колесной дощечке по тротуару забегало. Мать ему: «Жижи!», а оно как начнет трещать, как начнет, – не плоше самой Раймонды либо теток. Никиту звало «ппа». Никита погладил его по головке, по банту, – и ничего.

Трескотне не научился, не слушал ее никогда. В чем надо – Раймонду понимал, и она его. Да где-то перехватила она еще два-три словечка, подметив, что одни – мужу нравятся, другие – годны успокаивать его. Впрочем, знали некоторые и по значению, – «viruchka», например, «obed», «spat».

Так вертелись дни в благополучии, многим из Никитиных приятелей на зависть: вот повезло дуралею саженному! Таким чурбанам и везет!

Но хоть вертелось все одинаково, – перемена какая-то была. Сказывалась. Терпение Бог Никите послал большое; да ведь и толстое рядно стирается. И все чаще нападала теперь на Никиту скука. То будто ничего, и неделя, и две; а потом вдруг схватит – ну, хоть народ на гвоздях дави! Не давил, конечно.

В трактиришко опять заглядывать стал: не пить, отвык он, и не тянуло на вино, – а поспрошать у своих: скоро ль кончится? Трактиришко другой уж: прогорел тот будто. Приметил Никита, что и свои – другие какие-то, из прежних мало, невесть куда подевались. Когда кончится – не отвечали пу-

тем, ерунду болтали. Пока что, говорят, неизвестно.

Сны Никита стал видеть. И все такие явственные: подъезжает он будто с сеном, сено привез. А на крылечко Вань выполз, и к ступенькам уж норовит, – прыткий, шельмец! А Люба из хаты, за ним будто: «Куда, куда, повалишься!».

Никита, во сне, иной раз даже в голос: «Люба!». А Раймонда уж знает, что слово это хорошее, приветливое, и начнет ему, шепотком, как-нибудь непонятно, поласковее: ни-ми, ми-ни... Он не прочухается, опять заснет.

Особенно же тошны сделались Никите ихние пированья, праздничные ихние. Зимний Никола едва прошел, а они уж затрусились: показывает Раймонда, нынче у нас родные, ре-вельон, Рождество, значит. И просит-молит, вертайся ты пораньше, того-этого я наготовила, родные, нельзя же!

По прежним годам Никита знал эти ревилыоны с тетками-тантами, и угощенье знал: устриц наковыряют, шипучка сладкая, жареный петух... Всегда ему устрицы поганы были, а нынче – не смотрели бы глазыньки. Рождество нашли!

Буркнул что-то, не обещал, уехал. День выдался сперва задачливый, суета везде, клиент – один за другим; но к вечеру вышло неладно: испортилось в машине, да так, что дай Богу без риску до гаража доехать.

Судьба, видно; пошел из гаража домой.

Там уж все лампочки горят, стол раскинут, устрицы черные из соломы горой, и тетки, и золовки, и женихи чьи-то, и дядья и Жижишка тут же, салфеткой обвязана, голубой бант

в волосенках. Трескотня, конечно.

Никиту сразу засосало. Усадили его на край стола, рядом с главной, первой теткой. Раймонда в их сторону лепечет: «Мари... мари...», а кому говорит – неизвестно, танте ли, Никите ли: давно уж он приметил, что тетка эта называется «Мари», но Раймонда и его, Никиту, теткинским именем зовет. Вот до чего долопотались!

Пошло веселье. Слизи этой, устроив ихних, Никита, понятно, не ел, но чуть хлопнула первая пробка, сразу цельный стакан шипучки опорожнил. Дрянная, да уж очень душе было тошно, и чем дале, все тошней. Другой стакан налил, и третий. Думал, не легче ли станет: куда тебе! так и подсасывает. А кругом пуще веселятся, на местах сидя кружатся, дядя щеки надул, как в барабан в них бьет, детеныш заливаётся, тетка зуб свой оскалила.

Вино ли, с непривычки, тоска ли, а только тарацил Никита глаза на гостей, тарацил, – и стало ему показываться, что совсем они вертунами заходили; словно непрощенные, немытики окаянные – то пухнут, то опадают; шея у тетки в гусиную тянется, женихи зубами ляскают, рты до ушей, а девчонка на стуле тестом расползлась, только ее и было.

Никита помигал, – и опять ничего; сидят, как прежде, грохочут, кривляются, а ничего. Померещилось? Ну и померещилось; нет какие же это, коли от них такое мерещится? Смуняки, Рождество... Нарочно они?...

– Да будет ли конец тому? – вдруг заревел он, сам того не

ожидая, вскочил во весь свой рост и так хлопнул кулаком по столу, что все зазвенело, два стакана упали и разбились.

– Вон! – орал он. – Сгинь, пропади вы, нечистые, пропадом! Убью – сокрушу – башки раскрою! Прропадом прропади!

Бутылкой, за горлышко схваченной, чертил круг около себя, наступая на кого-то, – но это оказалась груда пустых раковин, которая с треском обрушилась на пол. За собственным ревом он не слышал ни визга женщин, кучей шарahnувшихся к дверям, ни детского плача! Не видел, что за тетками выскользнули из комнаты и дядья с женихами: может, были они и не робкого десятка, и скандалы выкидывали, но огромный человек этот, с грохотом непонятных слов, весь непонятный сам, – захватил их и страхом непонятным.

Уж пуста была комната, а Никита все ревел свои не то угрозы, не то заклинанья. Кто-то прицепился, было, к рукаву, – смахнул прочь, стряхнул, далеко отлетело, простонало, ахнуло...

Никита оборвал крик. Огляделся. Еще легкий синеватый дым от папирос стоял в комнате, на мокрой скатерти валялись разбитые бутылки. Никого не было. Совсем никого.

Опустившись на стул, Никита закрыл голову руками и заплакал. Долго плакал, склонясь к мокрой скатерти, всхлипывая, твердя тихие какие-то слова, – сам не знал, какие, но точно душу ими хотел из себя вымотать: и не выматывалась душа.

Чьи-то руки тихо обняли его сзади за шею.

– Ничего... Покашто... Потом... хорошо.

– Люба моя, Люба, – шептал, не оборачиваясь, Никита. –

Пока что... да ведь роса очи выест.... – Ничего... Спать, спать... Ни-ми-ми-ни... Потом... Люба.

Шатаясь от слез и боли, Никита покорно поднялся, покорно, как ребенок, дал увести себя в дальний угол, за занавеску, разделся, лег.

И прошло. Без беды прошло – на этот раз. Великую силу терпения и надежды послал Бог Никите. Хоть стирается и толстое рядно, – может, не изотрутся Никитины силы до конца. Какого конца? А это уж неизвестно. Никому не дано знать, – что, чем и когда кончится.